

П.Д. Успенский

Внутренний круг

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 101
ББК 87
П11

П11 **П.Д. Успенский**
Внутренний круг / П.Д. Успенский – М.: Книга по Требованию, 2024. – 152 с.

ISBN 978-5-458-54356-9

ISBN 978-5-458-54356-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Всѣ они стоятъ передъ вѣчнымъ, и всѣ они безсильны передъ нимъ.

Это *ощущеніе вѣчнаго* и безсиліе передъ нимъ—общая черта героевъ „последней черты“. И *это* безсиліе черта характерная для нашего времени.

Въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ несомнѣнно замѣчается опредѣленный поворотъ *отъ временнаго къ вѣчному*.

Этотъ поворотъ отраженъ въ романѣ.

Хотя, необходимо замѣтить, отраженъ очень криво, потому что авторъ рисуетъ намъ исключительно людей, *погибающихъ* у последней черты. Онъ не показываетъ людей, *переходящихъ* за эту черту. Можетъ быть, онъ ихъ не знаетъ, не замѣтилъ, не понималъ. Я не знаю этого. Во всякомъ случаѣ последняя черта безсознательной жизни рисуется ему какой-то гильотиной, за которой только одинъ мракъ небытія.

Къ сожалѣнію *для многихъ* это, дѣйствительно, такъ и есть. Поворотъ къ вѣчному совершается въ русскомъ обществѣ съ большой болью. Отрываясь отъ временнаго, люди долго не могутъ найти вѣчнаго. И они переживаютъ мучительный періодъ висѣнія въ воздухѣ между временнымъ и вѣчнымъ и отрицанія и того, и другого.

Причинъ у этого много. Разочаровавшись во временномъ, начиная понимать, что оно имъ само по себѣ вовсе не нужно, а если нужно, то только, какъ средство, для достиженія вѣчнаго, и, начиная искать вѣчнаго—люди ищутъ его совершенно такъ же, какъ искали временнаго. Они пытаются подойти къ вѣчному съ приемами, съ методами *и со словами*, выработанными въ исканіи временнаго.

Ясно, что эти способы и эти слова не могутъ годиться. Нельзя конечнымъ мѣрять безконечное, нельзя условнымъ опредѣлять безусловное.

Но, не зная ничего другого, еще раньше разочаровавшись въ другихъ методахъ, признавая только „положительные“, чисто условные методы своей науки, люди, соприкасаясь съ вѣчнымъ, осуждены на еще болѣе горькія разочарованія, на отрицаніе, на отчаяніе. И *для слабыхъ* это отрицаніе и отчаяніе можетъ стать той гильотиной, какую рисуетъ авторъ.

Но въ дѣйствительности отрицаніе совсѣмъ не такъ безнадежно.

Тѣ, которые достаточно сильны, чтобы довести отрицаніе до конца, приходятъ въ результатъ къ отрицанію своихъ методовъ, къ сознанію необходимости другихъ *новыхъ* методовъ, новаго отношенія къ жизни. Они понимаютъ вдругъ, что перемѣна должна

произойти въ нихъ самихъ. И тогда изъ отрицанія самаго отрицанія для нихъ вырастаетъ возможность *новаго утвержденія*.

Но герои г. Арцыбашева не доходятъ до этого. Они всѣ гибнутъ „у послѣдней черты“. И читатель невольно остается при мысли, что авторъ не видитъ иного исхода, что онъ самъ съ ужасомъ смотритъ на послѣднюю черту, самъ не видитъ возможности перешагнуть черезъ нее.

Отрицаніе само по себѣ не страшно. Это необходимый моментъ въ развитіи. Вопросы вѣчнаго, вызывая необходимость отрицанія временнаго, а такъ же вслѣдствіе неумѣлаго обращенія съ ними, очень часто приводятъ къ отрицательнымъ заключеніямъ вообще, къ отрицанію *всего*, ставятъ человѣка на краю пропасти. Но важно то, что вопросы вѣчнаго *поставлены*. Разъ коснувшись ихъ, отъ нихъ уже нельзя уйти. И, пускай даже путемъ отрицанія ~~какой-то~~ все-таки будетъ куда-то идти.

Поэтому *дѣятельное* сомнѣніе и отрицаніе гораздо лучше пассивной вѣры и утвержденія.

И если сравнивать, что лучше—довольство временнымъ или полное и безпощадное отрицаніе всего, чѣмъ жило и живетъ ~~человѣчество~~ вѣчество, то безъ колебаній можно сказать, что послѣднее лучше, потому что это—слѣдующій шагъ. Отрицаніе это—копье Ахиллеса; оно само будетъ излѣчивать раны, которыя наноситъ.

Человѣку, который удовлетворяется временнымъ, нужно еще разочароваться во временномъ. Только потерявъ временное онъ можетъ найти вѣчное.

Вообще найти что нибудь можетъ только тотъ, кто готовъ потерять все.

Это значитъ, что *потеря всего*—кажущійся моментъ. Какъ разъ тогда, когда человѣку *кажется*, что онъ потерялъ *все*, онъ находитъ *въ самомъ себѣ* нѣчто новое, бесконечно превосходящее все, что потеряно.

Но материалистическое мышленіе не сознаетъ, не понимаетъ и не хочетъ понимать этого *слѣдующаго момента*—и, разъ прійдя къ отрицанію, не можетъ понять, что отрицаніе *не есть* высшая мудрость жизни. Между тѣмъ это только—гибель слабыхъ, и новый путь сильныхъ.

Романъ „У послѣдней черты“ рисуетъ намъ, плохо или хорошо, какъ въ современномъ намъ обществѣ ставятся и рѣшаются *вѣчные вопросы*. Поэтому докладъ, посвященный этому роману и прочитанный прошлой зимой въ открытомъ собраніи Теософическаго Общества

въ Петербургѣ, я называлъ:—„Теософическія идеи въ русской литературѣ“.

Теософическія идеи, это—идеи вѣчнаго.

Герои романа въ сущности всѣ мучаются *вѣчными* вопросами—„вопросами теософій“.

Проблемы смерти и безсмертія, вопросы о страданіи, о любви, о смыслѣ жизни, о познаніи, о сверхчеловѣкѣ все, о чемъ разсуждаютъ и чѣмъ мучаются герои „Послѣдней черты“, это—теософическія идеи. И онѣ не дѣлаются менѣе теософическими отъ ихъ отрицательнаго рѣшенія.

Но „герои послѣдней черты“ не знаютъ, что они живутъ въ сферѣ теософическихъ идей, такъ же какъ „буржуа-жентильомъ“ не зналъ, что онъ говоритъ прозой.

Можетъ быть самъ авторъ не знаетъ этого...

Во всякомъ случаѣ въ романѣ г. Арцыбашева интересны яркія и выпуклыя картины того, что получается, когда люди, совершенно не готовые къ этому, вдругъ видятъ себя передъ вѣчными „неразрѣшимыми“ вопросами и пытаются взяться неумѣльными руками и неумѣльными, неготовыми умами за теософическія проблемы.

Въ сущности, несчастье и гибель героев послѣдней черты всецѣло зависятъ отъ того, что они слишкомъ близко подошли къ этой запретной чертѣ вѣчнаго, *не заплативъ долговъ*, т. е. не рассчитавшись съ временнымъ, не опредѣливъ своего отношенія къ нему.

Вся жизнь, какой мы живемъ: стремленіе къ успѣху, вѣчное соревнованіе во всемъ, подчиненіе всего остального сегодняшнему, злободневному и матеріальному клонится къ тому, чтобы отвести человѣка отъ вѣчныхъ вопросовъ. И, когда человѣкъ, весь опутанный нитями этой жизни, не понимая ни ея, ни себя, видитъ себя передъ лицомъ вѣчнаго, то онъ оказывается безсильнымъ и неготовымъ.

„Разсужденія“ героев г. Арцыбашева это — одна сплошная наивность и въ то же время полное доведеніе до абсурда матеріализма въ области вѣчныхъ вопросовъ. Главная ошибка всѣхъ этихъ людей въ томъ, что они пытаются разобратся въ вѣчныхъ вопросахъ *умомъ*, не понимая того, что въ нихъ нужно входить *всей жизнью*. Идей вѣчнаго, теософическихъ идей, нельзя касаться безнаказанно и нельзя прикоснуться къ нимъ слегка и немножко. Человѣкъ, только приблизившійся къ нимъ, уже *дѣлается другимъ*. Жизнь въ ея обычныхъ бытовыхъ и психологическихъ формахъ становится невозможной для него. Онъ уже долженъ или строить новую жизнь, или погибать отъ ударовъ и толчковъ этой. Силы сопротивленія, той силы, которая есть у всякаго, стихійно живущаго существа, у него быть не можетъ. Какъ бы онъ самъ ни

увѣрялъ себя, что онъ *тотъ же самый*, онъ уже *другой* и долженъ искать другого, *новаго* пути.

Поэтому вѣчные, *теософическіе*, вопросы такъ тѣсно соприкасаются съ вопросами морали, и безъ нихъ—невозможны.

Пониманіе этого послѣдняго факта не видно ни у кого изъ дѣйствующихъ лицъ романа ни у самого автора, насколько можно судить о его внутреннихъ идеяхъ по роману.

Между тѣмъ у нашей критики и у нашей публики есть привычка на всѣ идеи, какія можно извлечь изъ произведенія, ставшаго популярнымъ, смотрѣть, какъ на проповѣдь. Наша критика и наша публика еще очень дика, и, подобно младенцу, который тащитъ въ ротъ все, что ему попадается, она старается извлечь изъ всего моральное (или антиморальное) поученіе.

Хотя въ сущности вмѣстѣ съ нѣкоторой литературной чистотью этотъ фактъ показываетъ очень правильное и живое отношеніе къ вещамъ, т.-е. сознаніе того, что *ничто* не можетъ стоять *вне морали*, что *все* непременно имѣетъ такое или другое отношеніе къ морали, такое или другое моральное значеніе, что *безразличныхъ* въ моральномъ отношеніи вещей нѣтъ и что *мораль* нужно искать вездѣ и во всемъ.

Романъ „У послѣдней черты“ тоже не безразличенъ въ моральномъ отношеніи. Если принимать на вѣру взгляды автора и не находить отвѣта на всѣ мучительныя дилеммы его героевъ, то чтеніе этого произведенія непременно должно еще больше увеличить общую массу отчаянія и недоумѣнія, накопившагося въ душѣ современнаго человѣка, и романъ можетъ самымъ реальнымъ образомъ прибавить крестовъ на кладбищахъ.

Можно возражать противъ опредѣленія искусства, какъ отраженія жизни. Но, что *жизнь* есть отраженіе искусства и литературы, это—несомнѣнно.

Еще лѣтъ тридцать тому назадъ Максъ Нордау писалъ въ своихъ „Парадоксахъ“, что современный человѣкъ—думаетъ, говоритъ, любитъ, одѣвается не самъ по себѣ, а *какъ его любимый герой въ литературу*.

И это глубоко вѣрно. Никогда еще *подражаніе* не являлось такимъ яркимъ и сильнымъ факторомъ въ создаваніи формъ жизни, какъ въ наше время газетъ и телеграфа.

Рядомъ съ признанными модами на платье, на архитектурный стиль и на способы убиванія времени, у насъ существуютъ и дѣйствуютъ плохо сознаваемые моды на взгляды, на мнѣнія, на убѣжденія, на пониманіе жизни и смерти, на литературные вкусы, на

жизненные цѣли, на слова, на симпатіи, на антипатіи—и популярный романистъ очень часто является законодателемъ этихъ внутреннихъ модъ.

И во всѣхъ областяхъ одинаково.

„Парижскій апапъ“, это — созданіе бульварнаго романа, кроваваго и сенсационнаго; совершенно такъ же, какъ въ прежнія времена, созданіемъ сентиментальнаго романа была „грязетка“.

Въ наше время бульварная газета и бульварный романъ создали цѣлые новые ряды преступленій. — Обливанія сѣрной кислотой, подвиги „автомобилистовъ-анархистовъ“, безконечные синодики самоубійствъ, это все—прямые и непосредственные результаты уличной литературы *), особенно самоубійства.

Романъ г. Арцыбашева не идетъ на улицу, но всетаки и у Наумова, и у Краузе, и у Тренева, и у канцеляриста Рыскова, и у студента Чижана, какъ это ни глупо, могутъ найтись „единомышленники“ и „послѣдователи“, которые еще разъ изъ пятаго въ десятое перетолкуютъ о томъ, „почему надо“, и „почему не надо“, и потомъ возьмутъ да и повѣсятъ, или перерѣжутъ себѣ горло бритвой, или начнутъ проповѣдывать самоуничтоженіе и соблазнять другихъ черной ямой, которая тянетъ ихъ самихъ.

Конечно, строго говоря, романистъ не обязанъ считаться съ подобными послѣдствіями своихъ писаній. Но что эти послѣдствія возможны, на это тоже не слѣдуетъ закрывать глазъ. И не слѣ-

*) Вотъ замѣтка изъ хроники „Биржевыхъ Вѣдомостей“ (іюль 1912 г. иллюстрирующая одну изъ самыхъ поразительныхъ „модъ“ нашего времени, *моду на самоубійства*. „Литературное“ происхожденіе этихъ самоубійствъ очевидно.

Драма на романической почвѣ.

Сегодня ночью тяжелая драма разыгралась у дома № 41, по Кронверкскому пр. На улицѣ были подкаты трое молодыхъ людей, находившихся въ безсознательномъ состояніи. Всѣхъ отправили въ Петропавловскую больницу, гдѣ оказалось, что всѣ трое отравились какой то кислотой. Личности ихъ выяснены. Отравившіеся оказались наборщиками Румянцевымъ, Филипповымъ и Тарасовымъ. Причина покушенія ихъ на самоубійство — романическаго свойства. Всѣ трое ухаживали за одной 19-лѣтней дѣвушкой Корольковой, проживавшей въ домѣ № 9, по Тихвинской ул. Никто изъ молодыхъ людей, однако, не пользовался успѣхомъ, и это послужило основаніемъ для самоубійства. Румянцевъ, Филипповъ и Тарасовъ выпили по флакону кислоты. Объ отравленіи наборщиковъ узнала Королькова. Это такъ сильно поразило дѣвушку, что она въ свою очередь выпила укусутой эссенціи и въ безсознательномъ состояніи доставлена въ ту же Петропавловскую больницу. Положеніе всѣхъ четырехъ довольно тяжелое.

дуетъ закрывать глаза на то, что вся конструкція романа и отношеніе автора къ его героямъ, какъ будто нарочно, выдвигаетъ впередъ именно *отрицаніе* и безнадежность.

Поэтому задача критики по отношенію къ роману „У послѣдней черты“ должна бы была состоять въ томъ, чтобы показать читателю настоящую цѣну такого отрицанія, показать, что герои романа каждый по своему, заведены въ тупикъ цѣлой сѣтью софизмовъ, которые не только не хотятъ распутать, но всѣми силами поддерживаютъ и охраняетъ авторъ.

Къ сожалѣнію, это совсѣмъ не было сдѣлано. О романѣ писали и писали довольно много. Но писали все совсѣмъ не то, что нужно.

Конечно, разбирая романъ съ литературной стороны, можно многое возразить противъ пріемовъ автора и его описаній. Мнѣ лично кажутся, напримѣръ, крайне нехудожественными нѣкоторыя *объективныя* описанія того, что *объективно* не наблюдается. Я не думаю, чтобы авторъ не понималъ этого различія, и мнѣ кажется, что онъ часто жертвуетъ художественной правдой ради лишняго эффекта.

Вообще, съ литературной стороны въ романѣ не все благополучно: есть скучныя длинноты, есть старыя, старыя, наивныя клише, напр., повторяющаяся на разные лады фраза, рисующая „страшную переменчивость“ героевъ по отношенію къ женщинамъ: „то готовъ задушить, то ноги цѣловать“. И это „цѣлованіе ногъ“ нѣсколько разъ фигурируетъ въ качествѣ крайней степени униженія и подчиненія.

Подобныя вещи невольно вызываютъ улыбку и, конечно, лучше, если бы ихъ не было, но всетаки суть романа не въ нихъ, а въ яркой и сильной картинѣ положенія людей у „послѣдней черты“.

Что же касается критики, то она, вмѣсто того, чтобы растолковать читателямъ романъ и дать болѣе или менѣе трезвый взглядъ на всѣ отрицанія его героевъ, занималась преимущественно обличеніемъ его автора за нѣкоторыя, опять немножко непривычныя въ литературѣ, описанія и старалась на основаніи этого доказать, что весь романъ ничего не стоитъ.

Эта задача очень неблагоприятная. Романъ интересенъ и любопытенъ, онъ ставитъ много вопросовъ, вызвалъ много разговоровъ и обратилъ на себя вниманіе не только въ Россіи, но и за границей, какъ очень характерное явленіе въ новой русской литературѣ. Мнѣ попала статья въ журналѣ „The North American Review“, авторъ которой, впрочемъ не особенно хорошо знающій русскую литературу, ставитъ романъ „У послѣдней черты“ на одномъ уровнѣ съ тѣми произведеніями русскихъ писателей прежняго времени, которыя

создали славу русскаго романа за границей. На самомъ дѣлѣ романъ г. Арцыбашева типично русскій романъ, потому что это романъ *идейный*. Чисто бытовой или психологическій романъ у насъ успѣха имѣть не можетъ. И это былъ бы *не русскій* романъ.

На первомъ мѣстѣ въ романѣ „У послѣдней черты“ стоитъ *смерть*. Картины умиранія профессора Ивана Ивановича накладываютъ свой отпечатокъ на все остальное, что происходитъ въ романѣ. Это такъ сказать *сredo послѣдней черты*.

Докторъ Арнольди съ усиленіемъ понималъ этотъ спутанный, какъ будто совершенно бессмысленный, но на самомъ дѣлѣ полный ужаснаго смысла бредъ. Онъ смотрѣлъ на развалину когда-то умнаго, чуткаго, мыслящаго, гордаго своей мыслью человѣка, въ которомъ безсилно погасала послѣдняя искорка духа, и видѣлъ, какою жалкою является мечта о человѣческомъ безсмертіи. Аляповатой смѣшной картиной, самоучкой намалеванной на занавѣсѣ, за которымъ скрывается черная пустота, пестрѣли передъ нимъ Богъ, загробная жизнь, міровая душа. Кучка разлагающагося праха, догорающая свѣча и больше ничего. Можно было толковать о религіи, вѣрить въ безсмертіе, пока работалъ умъ, и тѣло жило полной жизнью. Но теперь, когда явно, на глазахъ человѣкъ обращался въ умирающее животное, въ идіота, комокъ внутренностей и хрупкихъ косточекъ, всѣ эти мысли были такъ же комичны и нелѣпы, какъ бабьи сказки о чертяхъ и домовыхъ.

Старичокъ задумался, опустивъ слабую голову на руки и закрывъ глаза.

Докторъ Арнольди уже думалъ уходить, какъ вдругъ Иванъ Ивановичъ поднялъ голову и, прямо и сознательно глядя, сказалъ:

— Ахъ, если бы немножко силы! Ну, немного, хоть недѣлю... чтобы только отдохнуть... чтобы все вспомнить, чтобы руки не дрожали, ноги ходили... я... пошелъ бы за ворота, посидѣлъ бы на лавочкѣ!..

Докторъ Арнольди невольно улыбнулся. Такъ было неожиданно это скромное желаніе умирающаго. И, уже улыбнувшись, онъ подумалъ о томъ, какъ должна сузиться жизнь, чтобы желаніе пойти посидѣть на лавочкѣ за воротами составляло несбыточную, недостижимую мечту. И почему-то доктору представилось, что если бы могъ что-либо желать Наполеонъ въ своемъ Пантеонѣ, онъ мечталъ, плакалъ и молился бы только о томъ, чтобы шевельнуть хоть однимъ пальцемъ, покойно сложенныхъ на груди мертвыхъ рукъ.

Дальше описывается безсонная ночь умирающаго профессора.

Иванъ Ивановичъ смотрѣлъ и думалъ. Голова его была ясна. Мысль напряженно и неустанно работала все въ одномъ кругу. Память подставляла не тѣ слова, но Иванъ Ивановичъ не замѣчалъ этого. Теперь никто не слушалъ его, никто не притворялся, что понимаетъ его лепетъ, и мысль безъ словъ или первыми попавшимися нелѣпыми словами работала съ желѣзной силой.

Смерть была тутъ. Иванъ Ивановичъ зналъ, что жить осталось уже немного. Правда, онъ не представлялъ себѣ, что это будетъ черезъ день-два. Онъ думалъ только, что ему не дожить до осени, въ крайнемъ случаѣ — до зимы.

Но, въ сравненіи съ жизнью, эта страшная, туманная осень казалась уже за дверью. А жилъ онъ такъ долго! Оглядываясь назадъ, Иванъ Ивановичъ видѣлъ безначальную вереницу лѣтъ. Онъ одновременно помнилъ себя и мальчикомъ, и студентомъ, и старымъ профессоромъ, чинно всходящимъ на кафедру. Въ туманный и громадный узоръ путались миллионы мелкихъ и важныхъ фактовъ: женитьба, единица, полученная на экзаменъ, каникулы въ деревнѣ, защита диссертации, встрѣча съ Марксомъ, поѣздки за границу, туманныя очертанія Лондона, Парижа, Нью-Йорка... Не было конца и счета словамъ, встрѣчамъ, мыслямъ и лицамъ. Это была какая то колоссальная панорама, двигавшаяся въ памяти съ страшной быстротой взадъ и впередъ. И нельзя было представить, что черезъ нѣсколько дней вдругъ все оборвется и исчезнетъ, какъ лопнувшая лента синемаатографа. Наступитъ что-то немонятное и ужасное, и его не станетъ. Въ мірѣ образуется какая-то нелѣпая, незаполнимая пустота. Будутъ похороны, могила и разложенье... полное небытіе; не вмѣщающаяся въ разумъ абсолютная тьма.

Все останется по прежнему, такъ же будутъ дни и ночи, будутъ говорить и ходить люди, будутъ войны, великія открытія, новые пророки, будетъ все, что было, только его одного не будетъ никогда.

Неужели и тогда кто-нибудь будетъ смѣяться!

Тоска подымается все выше и выше, охватываетъ съ головой, нечѣмъ дышать наконецъ!.. Все тѣло, вся душа, каждый нервъ тянется и дрожитъ. Надо скорѣе что-то вспомнить, что-то сдѣлать.

Но что вспомнить? Что смерть—обычное фізіологическое явленіе, что всѣ умрутъ, что когда-нибудь этотъ моментъ всетаки придетъ, что это еще не сейчасъ, что объ этомъ не надо думать?.. Что вопреки здравому смыслу, такому желѣзному и ясному, есть всетаки спасеніе: вѣчная безсмертная жизнь души... Богъ.

И страшная скачущая мысль вдругъ падаетъ. Призракъ смерти отступаетъ, растворяясь въ какой-то пловучей, усыпляющей мечтѣ.

И вдругъ гнетущая мысль начинаетъ овладѣвать Иваномъ Ивановичемъ, никому не жалъ его, всѣмъ надоѣлъ онъ, жалкій, выжившій изъ ума полутрупъ.

Но вѣдь онъ столько сдѣлалъ для науки. Теперь онъ, конечно, давно отсталъ, перезабылъ многое, но было время, ния его пользовалось почетомъ. Остались его книги, обширныя изслѣдованія по исторіи человѣчества. Люди должны и будутъ его помнить. И такимъ образомъ онъ всетаки не умретъ.

На мгновеніе какъ бы открывается изъ тьмы дверь въ яркое солнечное утро: да тѣло умретъ, но душа его будетъ жить вѣчно въ его книгахъ, въ его вліяніи. Да, вотъ оно и есть это безсмертіе!

Но тяжелая дверь захлопывается съ глухимъ стукомъ. Опять пустота и ужасъ: да, будутъ жить его книги и мысли, но не онъ самъ. А онъ умретъ. Что за дѣло Сократу, что имя его повторяется кстати и некстати какими то неизвѣстными людьми, а самъ онъ давно сгнилъ гдѣ-то въ землѣ. Развѣ это безсмертіе? Это насмѣшка! Иванъ Ивановичъ еще не умеръ, онъ только старъ, а уже и теперь какая связь между нимъ и его книгами? Лучше бы онъ и не писалъ ихъ совсѣмъ, не думалъ, не жегъ жизни надъ бумагой, а дышалъ, смотрѣлъ на солнце, котораго онъ никогда, никогда уже не увидитъ больше.

Такое отношеніе къ смерти въ романѣ Смерть, это—ужасъ, уничтожающій всякій смыслъ и всякую возможность

смысла въ жизни. Жизнь—какая-то слабая, непонятная, ненужная и безпричинная вспышка сознанія, миражъ событій и переживаній, затѣмъ—черное и холодное *Никогда!*

Правда, многимъ кажется, что *такія* „мысли смерти“ сочинены авторомъ, или если не сочинены, то притянуты намѣренно, приписаны *умирающему*, когда въ дѣйствительности онѣ проходятъ обыкновенно только въ умахъ *живыхъ* людей, *окружающихъ умирающаго*.

Мнѣ пришлось разъ говорить объ этомъ:

„Арцыбашевъ просто подставилъ здороваго на мѣсто умирающаго, — говорилъ мой собесѣдникъ. Сравните смерть его профессора со смертью Андрея Болконскаго. Вотъ тамъ настоящая художественная правда, помните эту *перемѣну*, которая произошла въ Болконскомъ, и которую замѣтили всѣ окружающіе. Вотъ это реальное ощущеніе смерти, не выдуманное, не приписанное умирающему ради эффе́кта.—Безразличіе одинаково и къ жизни, и къ смерти—вотъ наиболѣе характерная черта умиранія.—Сама природа устроила такъ. Страхъ смерти, это—удѣлъ живыхъ и здоровыхъ. Умирающіе почти никогда не ощущаютъ смерть такъ, какъ ее ощущалъ старый профессоръ, у нихъ нѣтъ этого мучительнаго цѣпленія за жизнь. Обыкновенно на человѣка сходитъ какое-то спокойствіе, его внутренній взглядъ углубляется, онъ чувствуетъ *иначе*, чѣмъ обыкновенно. Даже по чисто фізіологическимъ причинамъ человѣкъ не можетъ *такъ* умирать, онъ слишкомъ слабъ, слишкомъ боленъ, ему слишкомъ нехорошо. Природа гораздо умнѣе устроила смерть и ввела въ нее очень много постепенности“.

Такъ говорилъ мой собесѣдникъ. Но съ другой стороны *такія* умиранія бываютъ, и невѣроятнаго въ этомъ ничего нѣтъ.—Люди, живущіе среди природы, одной жизнью съ ней, или люди, сохранившіе внутреннюю нормальность среди ненормальной жизни, умираютъ необыкновенно мудро и спокойно. Но люди нашей ненормальной культуры, неправильнаго односторонняго интеллектуальнаго развитія могутъ умирать невѣроятно мучительно.

Нужно признать, что *аргументація смерти* въ романѣ очень серьезна. Что бы ни возражали на это, — *люди такъ чувствуютъ!* И свое собственное непосредственное ощущеніе смерти для нихъ важнѣе и *страшнѣе* всякихъ разубѣждающихъ словъ.

Нуженъ *реальный отвѣтъ* на всѣ эти вопросы умирающихъ и близкихъ къ умирающимъ людей. Отнестись легко къ тому, что переживаетъ старый профессоръ и умирающая актриса, и докторъ Арнольди, которому по его профессіи постоянно приходится имѣть

дѣло со смертью,—но для котораго она все время бессмысленный ужасъ и черная тѣма—отнестись легко ко всему этому—это значитъ не понять *урока жизни* огромнаго значенія.

Смерть нельзя обезцѣнивать, это глубокая и серьезная вещь. *О безсмертіи* нельзя говорить *земными словами*. Ужасъ разложенія, вся короткая, но страшная, жизнь трупа является символомъ какого-то непонятнаго для насъ, но тоже страшнаго значенія смерти. Отъ смерти нельзя отдѣлываться ни догматическими формулами, ни фантазированіемъ о продолженіи жизни, ни пошлыми спиритическими попытками сдѣлать изъ смерти какой-то ффарсъ или мелодраму съ прыгающими столами и стучащими духами. Ее нужно понять, на ея вопросы нужно отвѣтить. Нужно понять, что, какъ ни реальны кажутся выводы и ощущенія умирающаго профессора, на самомъ дѣлѣ это—иллюзія и самообманъ, цѣлая сѣть, цѣлое сплетеніе самообмана, *ужаснаго* самообмана, потому что что можетъ быть ужаснѣе такого умиранія?

Отчаяніе и безнадежность, которыя вѣютъ отъ этихъ мыслей умирающаго, бессмысленность жизни передъ неизбѣжнымъ ужасомъ смерти—это остается въ душѣ читателя. И это вызовъ всей жизни! Насмѣшка надъ пей, грубое и дерзкое поруганіе.

Но возразить что-нибудь на эти *мысли смерти* гораздо труднѣе, чѣмъ это, можетъ быть, кажется тѣмъ, кто самъ думаетъ иначе.

Трудно возразить прежде всего потому, что слова вообще имѣютъ меньше силы, чѣмъ мы это часто думаемъ. Слова говорятъ тому, кто ихъ хочетъ слушать. Измѣнять словами взгляды, убѣжденія и *ощущенія* другого человѣка такъ же трудно, какъ измѣнить его *вкусы*. „Мы знаемъ, что о вкусахъ спорить нельзя, а въ дѣйствительности только и дѣлаемъ, что споримъ о вкусахъ“, говоритъ Заратустра у Ницше.

Убѣжденія такъ же, какъ и вкусы, создаются въ таинственной внутренней лабораторіи души человѣка. Они *вырастаютъ* естественнымъ путемъ изъ какого нибудь маленькаго сѣмени. Сразу и насильно пересадить въ душу готовые убѣжденія нельзя, нельзя обойти естественный процессъ роста, можетъ быть, невидимый. Нельзя думать, что убѣжденія можно создать или замѣнить другими *путемъ аргументаціи*.

Ни одно убѣжденіе, ни одна увѣренность человѣка не являются результатомъ непосредственно предшествовавшихъ *логическихъ разсужденій*. Всякая жизненная увѣренность или неуѣренность человѣка, это — точка пересѣченія безконечнаго множества линій, состоящихъ изъ желаній, стремленій, опасеній, страховъ, симпатій.